

Ирина Львова

г. Петрозаводск



# ИСТОРИЯ

рассказ

Через много лет я вновь услышала голос КМ — темный, густой, с осенними горьковатыми оттенками. Тоска жизни растворена в нем в таких тонких пропорциях, как яды в лекарствах. Я пью эти звуки, как вино, для пробуждения, для забвения.

Из какого источника рождаются они? Из куража, из тайного знания, когда человек со страстным любопытством поджигает фитиль собственной жизни, с восторгом и ужасом смотрит, как огонь бежит по шнуру? Из этой ли энергии возникает искусство?

Нам было по шестнадцать, когда мы оказались с ней на одной скамейке освобожденных от физкультуры студентов. У нас была одна болезнь — ослабленное зрение, но слепота была разная: у нее врожденная близорукость, у меня — последние травмы, но постепенно я выздоравливала.

Она была высокая, полноватая, с крупными чертами лица, в толстых тяжелых очках, скрывавших ее глаза.

Я была ей по плечо и всякий раз смешно закидывала голову, чтобы услышать ее.

— Я уродина, — говорила она то ли в шутку,

то ли всерьез, — мое место всегда на скамейке среди нестандарта, но мне здесь нравится. По крайней мере, от таких, как я, ничего не ждут. Любят красивых и богатых.

Втайне мы завидовали друг другу. Я — ее росту, длинным ногам и жестким, как щетка, волосам, она — моей миниатюрности.

— Красота, уродство — дело вкуса, — парировала я не совсем уверенно, потому что красота была для меня загадкой, а в людях захватывало другое: интонация, жест, манера жить — поэтому я так часто и нелепо влюблялась.

— Уродство — это проклятие, — она всегда немного играла и старалась довести роль до конца. — Наказание за грехи предков. Испорченная карма. Я — брак природы, но с этим ничего не поделаешь. Как говорится, я уже здесь.

Скамейка в спортивном зале, пропахшем потом и пылью, была неподходящим местом для наших нежных разговоров, и мы безнаказанно перемещались в коридор, а потом на улицу, в сквер, в кофейню, где продолжали рассеянные беседы о будущем.

Она закуривала, привнося вместе с табач-

ным дымом в разговор ту особую свободу и порочность, которая опьяняла нас. Я внимала ей, не возражая, с тех самых пор привыкнув к роли слушателя.

— Может, когда-нибудь я стану матерью большого семейства, — говорила она, усмехаясь, — наверное, в этом мое предназначение? Все спрашивают о моих планах на жизнь, будто что-то можно спланировать. Просто надо бежать вперед, тут ничего не поделаешь. Механизм запущен. Мои родители просто злятся, когда я говорю, что у меня нет планов.

Она умолкала, ожидая вопросов, и я немедленно спрашивала:

— А кто они у тебя?

— Журналисты. И мама и отчим. Такие старомодные идеалисты-скептики, профессиональные свобододолюбцы. Они пишут для будущего, чтобы потом кто-нибудь узнал, как мы здесь жили. А я пошла в сумасшедшего своего папашу. Это он сделал меня чокнутой, уродливой, а потом пропал.

Слова, которые она произносила, не шли к детским припухлым губам, как и сигарета.

— Раньше я хотела быть актрисой. Мне нравилось представлять, что я другая, играть, как на сцене. Ведь взаправду и понарошку мало чем отличаются. Если думать, что все по-настоящему, можно умереть.

Но мы играли с нею в разные игры. Я верила в правила, доверяла словам и чувствам. Мои игры были бесхитростными, детскими. Я ждала от жизни радости. Я готова была удивляться пустякам, торжествовать от всякого проблеска счастья, справедливости. Но меня тянуло к ней. Мне нравилось, что она умна, ленива, цинична и так же по-детски наивна. В глубине души я знала, что она наивнее меня. И беззащитнее. Она чувствовала свою власть над мной и пользовалась ею, когда вздумается. Иногда она звала меня, иногда забывала о моем существовании и неделями не подавала о себе вестей.

Тогда мне казалось, что она управляет мною, а я покорно исполняю ее прихоти. На самом деле это она нуждалась во мне, но я не догадывалась об этом.

Однажды она позвонила и позвала к себе в общежитие. Ее комната была на пятом этаже,

в новом здании с длинными коридорами, уже пропитавшимися запахами кухни, краски и дешевого пластика.

КМ сидела на кровати, скрестив ноги. Она перестала носить очки, отрастила волосы. Ее глаза были густо накрашены, а губы обведены помадой с лиловатым оттенком. В ней было что-то демоническое и детское.

— Все кончается плохо, — сказала она. — Ты слышала, чтобы что-то заканчивалось хорошо?

Она никогда не спрашивала о моей жизни, а начинала фразу с любого слова, которое приходило ей на ум.

— Тебя отчисляют? — я предпочитала не усложнять жизнь словами. В ней и так нелегко разобраться.

— Уже отчислили, — сказала она и добавила почти равнодушно, — но мне все равно, я выхожу замуж.

Я знала, что она предвкушала увидеть мое удивление. Я не разочаровала ее, спросив нетерпеливо:

— За кого?

— За Рудика.

Теперь я действительно удивилась:

— Он же ненормальный и наркоман!

— Кто из нас нормальный? Ему нравится, как я пою. Он разбирается в этом. И я его люблю, наверное.

Наконец я заметила, что глаза ее странно блестели.

Она пересела на подоконник.

— Может быть, у меня призвание — петь. Я чувствую, что в этом есть какой-то смысл. Что я еще могу делать? Деньги? Детей? Зачем? Крутиться как белка в колесе, боясь остановиться, потому что остановишься — сойдешь с ума.

Она открыла окно и свесила ноги за подоконник.

— Наверное, мы знаем больше, чем можем понять и выразить. Внутри мы знаем все. Фокус в том, чтобы высвободить это знание. Рудик говорит, что нужно просто перестать бояться.

Я слишком боюсь высоты, чтобы спокойно смотреть, как кто-то на пятом этаже сидит на самом краю подоконника. Она знала об этом и, казалось, нарочно дразнила меня, сползая медленно через край.

— Перестань, — попросила я, зная, что она

засмеется в ответ. Она засмеялась и спустилась еще немного.

— Иди к черту, — разозлилась я. В это время она обернулась, и я увидела в ее глазах страх. Казалось, ее глаза молили о помощи.

Я остановилась. Я не знала наверное, как действуют наркотики, и, не раздумывая, бросилась к ней, дернула за пояс куртки, чтобы оттащить назад. На мгновение она потеряла равновесие, и теперь я вцепилась в нее не на шутку. Она была выше и крупнее меня, и до сих пор я не знаю, как смогла подтянуть ее к себе. Она не сопротивлялась и не помогала. Упала на кровать.

Я чувствовала слабость и страх. Мои руки дрожали. Я была уверена, что КМ манипулирует мною, и я ушла от нее, как мне казалось, навсегда.

А через пять лет мы снова встретились. За это время я успела окончить университет и, недолго помыкавшись по редакциям, равнодушно отвергавшим мои стихи, неожиданно поступила в аспирантуру, стала успешно делать карьеру ученого. Этому помогла встреча с Андреем, моим будущим мужем. Андрей был настолько рационален и убедителен, что я не могла не подчиниться его разумным доводам, бросила полубогемную жизнь, нашла для себя ясную и серьезную цель. Мои родители были рады. Я не знала, нравится ли мне Андрей. Мне казалось, что в нем не было недостатков. Он был красив, заботлив, умен.

Однажды друзья Андрея позвали нас на необычную вечеринку, которая происходила в квартире одного модного художника — в большой студии на верхнем этаже старого семиэтажного здания. Здесь собралась публика изысканно-небрежная: молодые мужчины в дорогих джинсах и джемперах, элегантные женщины в подчеркнута простых платьях бродили с бокалами вина, останавливались у странных картин, висевших на стенах. Это были изображения зверей, мифических чудовищ, обнаженных уродцев, гротескных в своей уродливости. Все они помещались как будто бы под водой, немые и неподвижные, как заспиртованные трупы младенцев. Картины вызывали у меня отвращение, но гости спокойно рассматривали их, так как, вероятно, привыкли к такого рода эпатажу, ибо искусство, в их глазах, существовало как эпатаж, как злой детский кукиш уставшей культуре.

В углу зала стоял рояль. К нему подошел небольшой человек, заросший щетиной, открыл крышку. А потом появилась КМ. Она встала рядом и стала ждать, когда пианист заиграет. Я не сразу узнала ее. Она была страшно худа: кожа да кости. Черный высокий парик делал ее похожей на куклу. В короткой юбке, на высоких каблуках, с черными наклеенными ресницами она была жалка и притягательна, какое-то странное существо, точно сошедшее с одной из картин.

Пианист, наконец, взял первый аккорд, и музыка полилась, как свежий воздух во внезапно раскрывшиеся окна. Музыкант играл что-то свое, чуть отстраненно, но сосредоточенно, блуждал поблизости, мимоходом задевая гостей, пока не завоевал их внимание и те не подчинились звукам фортепиано. Тогда КМ внезапно запела. Что это был за голос! — как густое вино в бокале, разлитое в солнечный полдень, — бархатный, горчащий. Она пела свободно, будто говорила, и вино струилось по стеклу, плескалось, дрожало. Я тотчас же влюбилась в этот голос, наполнилась его горечью и светом.

Они переговаривались с пианистом, а потом вдруг она затосковала, вывернулась, убежала от него. Он догонял ее звуками, целыми лентами сбитых в одно дыхание пассажей, пока она не остановилась внезапно. Тогда и он замолчал. И в этой неожиданной паузе было столько искреннего отчаянья, что следующая нота была долгожданным утешением, и в это мгновение я забыла и о себе, и о людях в комнате; теперь мы были вместе, застигнутые одной короткой паузой, ждущие воскрешения.

Когда КМ закончила петь, я подошла к ней, чтобы выразить свое удивление и признательность. Она узнала меня, улыбнулась по-детски самодовольно:

— Завтра я улетаю на запись моего диска в Лондон. Это будет совсем новая музыка. Ты увидишь.

Она закурила и опять стала прежней. Сигарета только подчеркивала припухлость ее губ, их совершенную детскость.

— А ты не изменилась, — заметила она. — Что ты делаешь? Уже замужем?

Она говорила с высокомерием королевы, глядя на меня с высоты своего роста.

— У меня все нормально, — ответила я неоп-

ределенно, так как обе мы не знали, что такое нормально. — Выхожу замуж вот за того парня, — я показала на Андрея. — Хочешь, я вас познакомлю?

— Зачем? Я и так вижу, что ты его не любишь, — сказала она безапелляционно. Я не хотела спорить.

— А где Рудик? — спросила я.

— Мы с ним давно разбежались. Но я благодарна ему. Он помог мне сделаться той, что я есть. Вот этот образ — его рук дело.

— Ты стала совсем другой, неузнаваемой, — сказала я, — но главное, что мне непонятно: откуда такой голос? Будто и не твой, а какого-то незнакомого человека. Это чудо!

— О, ничего странного. Надо делать, что хочешь, и не бояться.

— Не бояться чего?

— Ничего. Не бояться проиграть, умереть, сгореть.

— Ты ничего не боишься? — спросила я недоверчиво.

Она засмеялась.

— Я не думаю об этом. Рудик говорил, что, когда горишь, все просто. Но у меня не все так просто.

По старой привычке мы, не сговариваясь, вышли из студии, точно из спортивного зала, и, как прежде, пошли на улицу, спускаясь вниз, этаж за этажом.

— У меня есть машина, джип. Мне всегда хотелось большую собаку и большую машину. Хочешь покататься? — она улыбнулась. На мгновение мне показалось, что она не в себе, но это было лишь мимолетное впечатление.

Меня тянуло к ней, нервы были раздражены, любопытство разожжено, я была на пути к какому-то лихорадочному счастью.

Мы сели в черный джип, припаркованный у входа, и машина резко рванула с места. Город в ночи, освещенный огнями, был неузнаваем, мы неслись по пустынным улицам, пока не вылетели на шоссе. Оно тоже было пустынно, похоже на взлетную полосу, а мы разогнались так, словно хотели оторваться от земли. Я посмотрела на КМ: ее губы были сжаты, глаза блестели. Я взглянула на себя в зеркало: мои глаза светились тем же безумным счастьем. Мы не разговаривали, отдаваясь движению, как еще недавно му-

зыке. Машина летела легко, и скорость была неощутима, несколько секунд мы почти парили над землей, пока машину вдруг не развернуло и она не вылетела на встречную полосу. Мы почти въехали в двигавшуюся на нас фуру. Скрип тормозов вернул меня к реальности.

— Черт возьми, — пробормотала КМ. Я увидела, что она бледна и как будто в лихорадке.

Водитель фуры вышел из кабины: он что-то кричал, но это была человеческая речь, и она успокаивала. Только потом я ощутила страх. Я не могла двинуться от охватившей меня слабости.

С тех пор мы не виделись. Я жила эти годы в лихорадочном ожидании близких перемен, но они не происходили, я все никак не могла попасть в движение времени, в размеренный ритм эпохи. Я рассталась с Андреем, потом бросила работу, пропутешествовала по России и наконец вернулась домой, чтобы заняться новым делом. Я решила поступать на режиссерские курсы.

Однажды я получила по почте конверт без обратного адреса. Из него выпал диск, и вновь я услышала горький темный голос КМ. Я увидела огни шоссе, пустую дорогу, уводившую в небо. Мне захотелось узнать, что случилось с КМ, как сложилась ее жизнь. Я бросилась искать наших общих знакомых, но никто не слышал о ней. Я попыталась выяснить, кто прислал мне конверт с диском, но мне не удалось и это.

А недавно меня неожиданно разыскала однокурсница (когда-то она сидела рядом с нами на скамейке освобожденных студентов). Она рассказала о своих успехах и поинтересовалась, как сложилась моя жизнь. Она сказала, что готовит статью о выпускниках нашего университета. Внезапно я почувствовала слабость. Голова кружилась, сердце билось неровно и часто. Я хотела спросить о КМ, но не могла вспомнить ее имя. Наконец я совладала с собой и рассказала почти спокойно про свои безуспешные поиски КМ. Однокурсница удивилась моей неосведомленности и сказала как само собой разумеющееся, что КМ умерла меньше чем через месяц после нашей последней встречи от передозировки наркотиков.

# Интертекстуальность

Однажды и в моей жизни наступил момент, когда я наконец перестала ждать счастья. И не потому, что я его нашла, и не потому, что отчаялась его отыскать. Просто по лености и легкомыслию я все чаще забывала об обязанности мерить свою короткую жизнь на его надежных весах. Я присела на обочину и стала смотреть по сторонам.

Экзамен уже заканчивался. Я нетерпеливо ждала, когда ответит последний студент и моя жизнь будет снова принадлежать мне. Я прикидывала, что могу с нею сделать.

— Так что же такое интертекстуальность? — спросила я, чтобы, наконец, прервать долгий бессвязный монолог студента.

— Интертекстуальность? — повторил он и, помолчав, неожиданно спросил: — А как вы думаете, может ли кашалот откусить человеку ногу? Не руку — а ногу?

Я подняла глаза. Лица девятнадцатилетних прочесть не так уж трудно. На них обычно написано ожидание счастья, неизбежное, как детская припухлость. Но здесь и буквы, и слова были те же, но они не читались.

Студент был рыжим, и хотя короткий ежик приглушал пылающий цвет его волос, красно-оранжевый оттенок явно проступал на выбеленной коже. Даже глаза его были рыжеватыми. Кисти, покрытые рыжей шерстью, казались какой-то странной, интимной частью тела, более чувствительной, чем лицо, привыкшее к ежеминутному разглядыванию посторонних.

— Вы о чем? — спросила я.

— О Моби Дике. Я думаю, что это невозможно. И у меня есть несколько соображений по этому поводу.

Его губы старательно двигались, мучительно справляясь с артикуляцией. Он был совершенно серьезен.

Я подумала, может ли недуг (а его тело было

изуродовано болезнью) заострять некоторые черты характера, менять акценты, выпячивая те странности, которые легко прячутся в обычном мягком теле?

— У меня есть стихотворение о ките, довольно длинное, — продолжал он. — Но я позволю себе прочесть фрагмент, где я описываю поведение китов. Вы знаете, киты атакуют корабли, но для людей в океане они не опасны.

Очевидно, у человека слишком мало способов выразить неуловимость собственной жизни. Один из них — речь, которая живет по другим законам, чем тайный океан «Я», и мы напрасно пытаемся перейти его по скользким камням слов.

Между тем за окном стемнело. Собирался дождь, и в нашу беседу пора было добавить здравого смысла.

— Мне нравится ваша заинтересованность в предмете, — сказала я, — но ваши знания я могу оценить только на три.

Это был мой подарок, признание того, что существуют безумные пути, которые не проходят в университетах и не могут быть измерены баллами. Наконец, и у меня самой была масса безумных вопросов. Только я давно уже не пытаюсь их кому-нибудь задать. Например, что значит молчание миллионов звезд? И ждет ли нас что-нибудь, кроме страдания и смерти? И где тогда Бог? В нас? Или в этой безмерной бессмысленности? И куда направлены наша отвага и наше стремление? И что мы можем знать? На что надеяться?

Я перевела дыхание. Студент принял тройку как должное и побрел за мною следом. По-видимому, монолог, который он ткал минута за минутой, был дорог ему, и он боялся оборвать его на полуслове. Он говорил с той увлеченностью и самоотдачей, с какой велосипедист крутит педали на велотреке, все быстрее и быстрее, оставаясь все в том же кругу.

Чтобы успеть до дождя, я пошла домой напрямик, через старый заброшенный сквер. Когда я сворачиваю в нехоженые заросли, то теряю способность читать все подряд: звоны птиц, сухость гравия, тяжелые кроны деревьев. То, что не может быть прочитано, перестает существовать для меня, и я неуверенно пробегаю взглядом возникающие пустоты. Я привыкла прятаться за словами, как за стволами деревьев.

Растения пробили асфальт, разрушили прямые когда-то дорожки, переплелись, сцепились, поползли в разные стороны. Бесшумно и страстно они боролись за жизнь под стволами шершавых берез, уходивших кронами в небо.

Начинался дождь, и сквер зашевелился, обрел голос. По привычке я вслушивалась в невнятное бормотание.

— Боярышник цветет. Вот там, на склоне, — донеслось до меня.

Мой спутник вышел из круга китобойных наблюдений и теперь читал, как таблички в музее, имена окружающих нас деревьев, называя привычными словами хаос, царивший вокруг.

— Пруст, — откликнулась я.

— А вот осень, — он подошел к сплетенному кому растений. — А это вяз.

— Любовь под вязами, — пробормотала я. — Неужели?

— Это вяз шершавый, — рыжие губы обиженно опустились.

— Я представляла его более величественным, — попыталась объяснить я. — Как у О'Нила. Вы читали «Страсти под вязами»?

Его глаза засветились радостью, и он сказал быстро, без запинки:

— У него должны быть отводки. Я принесу вам. Подождите.

И исчез в зарослях.

В это время кто-то на небесах нажал форте, и дождь полил радостно и бодро, выбивая мажор на расползшихся дорожках. Я укрылась под ближайшим деревом. Это был высокий стройный вяз, полный силы и юной прелести. Его густая листва укрывала меня как шатер.

Из множества игр, которые мне суждено сыграть, я люблю самые детские, правила которых мне незнакомы. Нынешняя игра напоминала прятки, но я не знала, вожу ли я или

прячусь. Сцепление нелепых случайностей лишило меня воли. Так всегда происходит, когда я настойчиво ищу здоровый смысл или разумное объяснение происходящего. Я вдруг вспомнила имя студента.

— Егор, — позвала я неожиданно голосом, каким женщины призывают своих мужчин, — не нужно никаких вязов. Вы же промокнете насквозь. Выходите.

— Сейчас-сейчас, — отозвалось где-то поблизости. Я увидела его сидящим на корточках в высокой траве. Через мгновение он опять пропал в зарослях. Трава стояла стеной.

— Летние травы, — пробормотала я, — все, что осталось от грез о славе древних воинов.

В каждой ситуации есть что-то гротескное, бессмыслицей скрепляющее жизнь.

Дождь утихал, и я вышла из укрытия. Сквер наполнился разнообразными ароматами цветенья, запахами мокрого дерева, сырой земли. Весь мир был разбужен дождем и дышал, шелестел, шептал, охваченный скрытым движением. Это был мир бесконечных вариаций, метаморфоз, перетекающей материи, бесчисленных изменений ее форм и смыслов. Мир, похожий на океан. Кто-то уже писал об этом.

В ближних кустах сирени началось движение, пока вдруг из темной зелени не образовалась человеческая фигура. Егор шел мне навстречу. Его лицо было омыто счастьем.

— Это отводки, их можно посадить в землю, — он протянул мне грязные веточки с проводочными корнями.

Я вдруг вспомнила, что счастье заразительно. Мы пошли рядом.

— Так что это за роман о вязах, о котором вы говорили? — спросил Егор.

— Это не роман, а пьеса. О страсти.

Он широко улыбнулся.

— Интертекстуальность?

— В некотором смысле да.

Давнее страстное желание овладело мной. Я хотела прочесть все происходящее как книгу, я мечтала оформить жизнь по законам литературы, по жестким законам языка, диктующего формы счастья. Беззаконие жизни разжигало мое любопытство, ее невыразимость сразила меня.



# Достоевский

Мое детство прошло за чтением книг. И когда я выросла, в моей жизни мало что изменилось. Я с тем же любопытством продолжала следить за поединками мысли, метаморфозами чувств, опасными путешествиями интеллекта. Мои отношения с реальностью становились все более запутанными. Переулочки Достоевского были для меня живее, чем выщербленный асфальт около хрущевки, где я жила. Словесные ландшафты ярче городского пейзажа. Воображение достовернее реальности. Я открывала ее, как книгу, читала подряд цвета, формы, звуки, движения, в то время как она струилась, извивалась, взрывалась, угрожала, притворно убаюкивала.

Окружающие с нетерпением ждали, когда реальность наконец-то возьмется и за меня. Чему-то научит. Ибо нельзя всю жизнь провести с романами Достоевского, переводами Цицерона, Джоном Льюисом в наушниках и Хокусаяем в окне компьютера.

Я не возражала против встречи с реальностью. Если она все еще медлила, то я готова была сделать первый шаг.

Одним словом, я решила научиться водить автомобиль. Взять жизнь за руль, оставить позади фантомы и фантазии той реальности, ко-

торую называют призрачной, оттого что ее невозможно пощупать руками.

Я изучила правила вождения с легкостью, так как они были всего лишь новым языком, а к тому времени я знала уже шесть. И вот, наконец, я пришла на автодром — асфальтированную площадку у леса, где за забором стоял десяток автомобилей: «девятки», «восьмерки», «калин», — но тогда я не знала их названия. У них всех был печальный вид безнадежных больных. На местном жаргоне они назывались убитыми. Более живой была группа инструкторов — коренастых мужчин с животами, животиками, животищами разнообразных размеров, которые по привычке я немедленно стала классифицировать по форме и длине окружности. Мысленно я уже читала сагу о мужских животах, выпячивающихся, выпирающих, вылезающих из помятых штанов их владельцев. По незнанию я приняла инструкторов за обычных людей, с грубоватыми лицами дальнотойщиков, но впоследствии мне пришлось признать, что ошиблась. Долгие месяцы преподавания превратили их в богов автомобильного Олимпа. Может быть, у них и были недостатки, но в глазах смертных они обладали всемогуществом и непогрешимостью.

Смертные, или, лучше сказать, ученицы разных возрастов робко жались у забора. Нетрудно было понять, что реальность, с которой мне предстояло познакомиться, поделена на мужскую и женскую, где мужская доминировала. Мы должны были нарушить табу, проникнуть на чужую половину, приобщиться к технике, завоевать то, что нам никогда не принадлежало. Инструкторы предпочли бы нас игнорировать, но, как и полагается богам, они были вынуждены иногда появляться перед смертными. Один из них снисходительно удостоил меня вниманием.

— Садись, — сказал он со вздохом. Он был немолод, как и автомобиль, на котором мне предстояло ездить. Главным качеством моего инструктора была невозмутимость. Невыразительной скороговоркой он перечислил то, что, вероятно, находилось перед моими глазами: ручник, поворотник, зажигание, сцепление, газ, тормоз, и, словно исчерпав положенный на меня запас слов, замолчал.

Реальность была проста как дважды два, без формул, гипотез и теорем: я сидела в машине и ее нужно было сдвинуть с места. Все приспособления в машине были сработаны на совесть и были рассчитаны на танкистов, ракетчиков и людей других мужественных профессий. Пределом моих мечтаний было повернуть руль. Я навалилась на него всем телом, но это не дало никакого результата. Инструктор молчал. Машина стояла как вкопанная. Через полчаса я перестала с ней церемониться. Я вцепилась в ручник, рванула руль, придавила сцепление. Машина дрогнула и покатила. Теперь я отчаянно соображала, как ее остановить. Я привыкла контролировать реальность, а сейчас она уплывала из-под ног.

— На змейку, — изрек инструктор.

Мне все еще хотелось остановиться или хотя бы понять, как это делается, но фишки приближались быстрее, чем я орудовала рулем и педалями, и тщетно я пыталась избежать столкновения с ними.

Мой прежний опыт подсказывал мне, что упорство и терпение рано или поздно побеждают, но это был не тот случай. Мои руки болели, на ладонях вздулись мозоли, но мне так и не удалось проскочить между фишками.

Я вышла из машины. Я чувствовала усталость. Инструкторы мирно курили, ученицы робко стояли у забора, и я шла мимо них, в обход, к воротам, за которыми была понятная человеческая жизнь.

На другой день меня встретил новый инструктор. Исчезновение первого осталось для меня загадкой. Но зато я узнала тайну его молчания. Инструкторам было запрещено изъясняться матом. Наверное, другого языка он не знал, а мое вождение оставляло для него мало шансов заговорить на обычном русском.

Новый инструктор был молод, худ и поразительно разговорчив. Он не умолкал ни на минуту. Он искренно удивлялся моим ограниченными умственными способностям и не скрывал своего удивления. «Чево в зеркала не смотрим?» — интересовался он, а когда я испуганно смотрела влево, то уже кричал в бешенстве: «Яма!», и мы летели ей навстречу, без всяких шансов увернуться. Тогда он произносил нечто, напоминавшее «ить налить», а после заканчивал уже внятно и отчетливо: «Это тебе не Достоевский». Он считал меня безнадежной. Я считала его невеждой. И это мы пытались друг другу доказать при встрече. И все же он нравился мне своей страстностью и наивной верой в святое учение об автомобиле. Кроме того, он открыл для меня реальность, которая была проста, как неструктурированная доска. Она не имела подтекста и вся умещалась в настоящем. Теперь я замечала ее многочисленные детали, которые прежде были несущественны. Выбоины на дороге. Нечищенные мусорные баки. Место для разворота. Знак «уступи дорогу». Джип слева, «десятка» впереди. Тормоз, газ. Здешняя жизнь требовала определенных навыков, но не более.

Шли недели. Я не читала книг. Я не мечтала о дальних путешествиях. О скорости. Лишь только я старалась увильнуть от настоящего, от новой реальности, как она настигала меня визгом тормозов и знакомым криком «Ить-налить».

В этом новом настоящем я чувствовала себя неуверенно. Я уже почти согласилась, что безнадежна. Поэтому на экзамен я записалась на несколько недель вперед. Я помнила, что при-

рода всегда берет количеством. Я шла проверенным путем.

Я стояла в толпе учениц. Мы робко ожидали инспектора. Он был с другого, более высокого Олимпа, поэтому ни с кем особенно не церемонился. Втиснулся в автомобиль, открыл папку с фамилиями, небрежно кивнул: «Начинайте». Ученицы вылетали из машины одна за другой. Мне удалось продержаться дольше других. Свернуть на шумный перекресток. Выехать из пробки. Меня подвело воображение. Я подумала, как неожиданно хорошо все складывается, я представила дорогу, которая уходила из города, дальше, дальше, за забор автошколы, в будущее путешествие.

И тут настоящее вернулось. Двигатель заглох, машина откатилась. Нужно было начинать все сначала.

Прошли весна и лето, деревья за забором автошколы стали сбрасывать листву. Я вела горькую жизнь неудачницы. Записывалась на экзамен, стояла в долгой очереди. От безнадежности я стала брать с собой книги. В них жизнь была понятнее.

— Достоевского читаете? — однажды услышала я за спиной.

— Да, — пробормотала я, смутившись.

— Правда, Достоевского? — переспросили меня недоверчиво. Я подняла глаза. Молодой

инспектор почтительно смотрел на книгу в моих руках.

Через час я села в машину, и мы поехали. Спиной я чувствовала интерес к себе. Уважение, будто я спустилась с великолепного, осыпанного чудесами Олимпа. Машина свободно катилась вперед, и вдруг я почувствовала удивительный миг совпадения дороги и книги, воображения и реальности. Я не ждала ничего дурного ни от машины, ни от дороги, ни от судьбы. Наконец я была обычным человеком за рулем.

□

***Ирина Вильевна ЛЬВОВА*** —

*доктор филологических наук,  
профессор кафедры  
германской филологии ПетрГУ.*

*Автор книг «Рассказы»  
(2001 г., соавт. с Т. Мешко),  
«Если бы нас спросили» (2003),  
«Вариации» (2009),  
«Случайные гости» (2011).*

*Публиковалась в журналах  
«Carelia», «Север», «Аврора» и др.*

*Член Союза писателей России.*

